

18+



ХРАНИТЕЛЬНИЦА

КНИГ ИЗ

АУШВИЦА

АНТОНИО ИТУРБЕ

Основано на реальной истории узницы Аушвица Диты Краус



Антонио Итурбе

**Хранительница книг из
Аушвица**

Перевела с испанского Елена Горбова

POPCorn Books
Москва

Antonio G. Iturbe
La bibliotecaria de Auschwitz



Оглавление

[К читателям](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)

[30](#)

[31](#)

[32](#)

[Эпилог](#)

[Заключение](#)

Дите Краус посвящается

Дорогой читатель!

Мне бы хотелось рассказать, как возникла книга, которую ты держишь в руках. Несколько лет назад испанский писатель Антонио Итурбе искал тех, кто мог бы сообщить ему некоторые подробности в связи с задуманным им романом о детском блоке в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау.

Он нашел мой электронный адрес, и у нас завязалась переписка. Его письма были краткими, не более, чем вежливые вопросы, а мои — длинными, подробными ответами. А потом мы встретились в Праге, и в течение двух дней я водила его по тем местам, где росла, показывала, в какой песочнице играла, в какую школу ходила и какой дом мы с родителями покинули навсегда, когда нацистские оккупанты депортировали нас в гетто Терезина. На следующий день мы с ним отправились в тот самый Терезин. Перед нашей поездкой Тони сказал мне: «Всем известна самая большая в мире библиотека. Но я собираюсь написать книгу о самой маленькой библиотеке, а также о ее библиотекаре».

Именно эта книга сейчас перед тобой. Она, естественно, написана на испанском, а то, что ты видишь, — ее перевод. Многие из того, что я рассказывала, было использовано ее автором, хотя, конечно, у него были и другие источники, тщательная работа с которыми позволила ему собрать целую

коллекцию данных. Но несмотря на историческую достоверность повествования, книга не является документальной. У этой истории два родителя — моя собственная жизнь и богатое воображение автора.

Спасибо тебе большое за то, что прочтешь книгу и поделишься ею с другими!

Твоя Дита Краус



Дита Краус (1929)

Автор фотографии неизвестен, семейный архив Диты Краус

На всем протяжении своего существования блок номер 31 концентрационного лагеря смерти Аушвиц служил пристанищем для более пятисот детей и нескольких взрослых заключенных, называемых «советниками». И, несмотря на установленный за ним тщательный контроль, располагал тайной детской библиотекой. Микроскопической: всего восемь книг, среди которых — «Очерки истории цивилизации» Герберта Уэллса, книжка на русском языке и учебник по аналитической геометрии [...]. Вечером книги, а также другие сокровища — лекарства и кое-какая снедь — поручались попечению одной из девочек постарше, чьей задачей было прятать все это на ночь — каждый день в новом месте.

Альберто Мангель. «Ночная библиотека»

Воздействие литературы подобно эффекту спички, зажженной в ночи посреди поля. Одна спичка практически ничего не осветит, но она покажет нам, какая тьма царит вокруг.

Уильям Фолкнер (цитируемый Хавьером Мариасом)

1

Аушвиц-Биркенау, январь 1944 года

Эти офицеры, облаченные в черные мундиры и взирающие на смерть с невозмутимостью могильщиков, понятия не имеют о том, что здесь, на темной болотистой почве, в которую погружается все без разбору, Альфред Хирш возвел школу. Они этого не знают, и нужно, чтобы никогда и не узнали. В Аушвице жизнь человеческая не стоит ни гроша, не стоит ничего, даже меньше; ее стоимость столь ничтожна, что здесь никого не расстреливают: пуля дороже, чем жизнь человека. Для умерщвления используются сообщающиеся камеры, в которые запускают газ «Циклон». Тем самым снижаются затраты: одного баллона газа хватает на сотни человек. Смерть стала видом производственного процесса, рентабельного исключительно в том случае, когда он осуществляется в промышленных масштабах.

Классы в деревянном бараке — это всего лишь поставленные кружком табуретки. Стен нет, да и классной доски глазами не увидишь: учителя изображают в воздухе равнобедренные треугольники, значки циркумфлекса и даже расположение основных рек Европы жестами, движениями рук. Около двух десятков сбившихся островками детских головок, в

центре каждого — учитель. При этом островки расположены так близко друг к другу, что учителя вынуждены говорить шепотом, дабы рассказ о десяти казнях египетских не смешивался с ритмичным напевом таблицы умножения.

Некоторые не верили в то, что такое вообще возможно, и считали Хирша то ли сумасшедшим, то ли наивным дурачком: как можно учить детей в жесточайшем лагере смерти, где все под запретом? А он только улыбался. Хирш всегда улыбался — с самым таинственным видом, как будто знал нечто такое, о чем окружающие не имели ни малейшего понятия.

Не так важно, сколько школ закрыли нацисты, говорил он в ответ. Каждый раз, когда взрослый останавливается на углу, чтобы о чем-то поведать, а вокруг — послушать его — усаживаются дети, открывается новая школа.

Дверь барака внезапно распахивается, и вбегает Якопек, дежурный по безопасности: он несется к каморке Хирша, старшего по блоку. С его деревянных сабо разлетаются капли уличной грязи; мыльный пузырь внутренней безмятежности блока 31 лопается. Словно под гипнозом, взирает Дита Адлерова из своего уголка на капли грязи: казалось бы, такие маленькие, незначительные, но все вокруг заражают реальностью — так одна чернильная капля губит целый кувшин молока.

— Шесть, шесть, шестерка!

Это условный знак, сигнал; он означает, что к блоку 31 направляется патруль эсэсовцев. По всему бараку прокатывается тревожный гул. В Аушвице-Биркенау, этой фабрике умерщвления, где день и ночь работают печи, топливом для которых служат человеческие тела, 31-й блок — нечто нетипичное, странное. Скорее аномалия. Достижение Фреди Хирша, который начинал простым тренером в юношеской спортивной секции, а теперь стал атлетом, одолевающим в Аушвице полосу препятствий в ходе самого грандиозного в истории человечества соревнования с катком, перемалывающим жизни. Ему удалось убедить немецкую администрацию концлагеря в том, что занять чем-нибудь детей в отдельном бараке — вещь полезная, потому что облегчит работу родителей в лагере BIIb, «семейном» лагере, поскольку в остальных дети встречаются так же редко, как птицы. Птиц в Аушвице нет — они умирают на проволоке ограды, испепеленные электрическим током высокого напряжения.

Администрация концлагеря снизошла до создания детского барака. Быть может, по той причине, что это входило в ее намерения изначально. Однако при неукоснительно соблюдаемом условии: этот блок — исключительно игровая зона, обучение какой бы то ни было школьной дисциплине категорически запрещено.

Хирш выглядывает из двери своего кабинета старшего по блоку 31. Ему не приходится ничего говорить — ни своим ассистентам, ни учителям: все

глаза и так устремлены на него. Один почти незаметный кивок. Его взгляд требует безусловного подчинения. Сам он всегда делает то, что должно. И этого же ожидает от остальных.

Уроки прерываются и тут же превращаются в обычные детские хороводы с немецкими песенками или в игру-отгадку: в тот момент, когда на эту сцену обратятся холодные светлые взгляды арийских волков, возникнет видимость полного соответствия заведенному порядку. Обычно патруль — пара солдат — лишь переступает порог барака и несколько секунд наблюдает за детьми. Иногда солдаты даже аплодируют исполнителям песенки или гладят по головке какого-нибудь малыша и тут же покидают блок, продолжая обход.

Но на этот раз обычный сигнал тревоги Якопек дополняет словами:

— Инспекция! Проверка!

Проверка — совсем другое дело. Проводится построение, обыски, иногда охранники задают вопросы самым маленьким: пользуясь детской наивностью, легче вытянуть нужную информацию. Но ни один из ребят ни разу так и не проговорился. Малыши понимают все гораздо лучше, чем может показаться с первого взгляда, когда судишь о них по перемазанным соплями мордашкам.

Кто-то шепчет: «Пастор!..» Поднимается гул, в котором слышатся нотки отчаяния. Пастором зовут

прапорщика СС (*обершарфюрера*) из-за его привычки засовывать руки в рукава кителя, словно священник в рукава сутаны, хотя единственная практикуемая им религия, как известно всем и каждому, это жестокость.

— Ну-ка, живей, давайте же! Худа, давай, запевай: «Вижу, вижу...» [\[1\]](#)

— А что я «вижу», пан Штайн?

— Да что угодно, все равно что! Бога ради, сынок, что угодно!

Два учителя с ужасом переглядываются. У них в руках — нечто в Аушвице строго-настрого запрещенное; их обоих точно обрекут на смерть, если оно будет при них найдено. Это очень опасные вещи, настолько опасные, что обладание ими обрекает человека на применение к нему высшей меры наказания, хотя они не стреляют, не являются колющими, режущими или представляющими угрозу здоровью и жизни предметами. То, чего так боятся безжалостные служители Рейха, всего-навсего книги: старые, без переплетов, теряющие страницы, почти ни на что не годные. Но нацисты их преследуют, уничтожают, с маниакальной настойчивостью запрещают. На всем протяжении всемирной истории у всех диктаторов, всех тиранов и угнетателей, будь они арийцами, африканцами, азиатами, арабами или славянами, какого бы цвета ни была у них кожа, выступали ли они за народные революции или защищали привилегии высшего класса, действовали ли они именем Бога или

подчиняясь воинской дисциплине, вне какой бы то ни было зависимости от принятой идеологии, у всех у них общим было одно: упорное преследование книг. Книги чрезвычайно опасны — они заставляют думать.

Группы детей остаются на своих местах; в ожидании появления патруля и начала проверки они продолжают распевать немецкие песенки. Но вдруг одна девочка, сорвавшись с места и вихрем кинувшись в обход табуреток, взрывает эту безмятежную гармонию барака, предназначенного служить местом для игр и развлечений.

— На пол! Ложись на пол!

— Ты что, рехнулась? — кричат ей.

Один из учителей протягивает руку, стараясь ее остановить, но той удается уклониться, и — перебежками, меняя направление, — она несется дальше, а ведь нужно совсем другое: застыть, окаменеть, чтобы тебя никто не заметил. Девочка забирается на проходящий вдоль всего барака дымоход — возвышение около метра высотой, разделяющее пространство на две половины, и — хлоп! — спрыгивает с другой стороны. Немного промахивается, опрокидывает пустой табурет — тот с грохотом катится по полу, и от этого грома на секунду замирают песенки и игры.

— Черт тебя подери! Ты ж нас всех с потрохами выдашь! — взвизгивает пани Кризкова, вспыхнув от негодования. За глаза дети называют ее «пани

Лишайка». И учительница знать не знает, что этим своим прозвищем она обязана той самой девчонке, которой и адресованы ее гневные слова. — Затихни там в углу вместе с дежурными, ненормальная!

Но девчонка не слушает, она несется вперед, все дальше, не обращая ни малейшего внимания на осуждающие взгляды. Глаза многих детишек заворуженно следят за мельканием ее тонких ног, обтянутых шерстяными чулками в поперечную полоску. Девочка очень худая, но на вид не слабенькая; за ее спиной маятником раскачивается грива каштановых волос. Дита Адлерова движется среди сотен человеческих фигур, но бежит одна. Мы всегда бежим в одиночку.

Двигаясь зигзагами, она добирается до центра барака и с трудом вклинивается внутрь детской группы. Резко сдвигает одну из табуреток — сидящая на ней девочка кубарем летит на пол.

— Эй, ты что, совсем сбрендила! — кричит ей с пола упавшая.

Учительница из Брно вдруг с изумлением видит возникшую перед ней, задыхающуюся от бега юную библиотекаршу. Ничего не объясняя — не до того, — Дита выхватывает из ее рук книгу, и учительница чувствует моментальное облегчение. Когда через мгновение она приходит в себя и хочет поблагодарить Диту, та уже далеко — в нескольких метрах. До появления в бараке эсэсовцев осталось всего ничего.

Инженер Мароди, который видел маневр Диты, уже ждет ее за пределами круга детских голов. Он протягивает ей учебник по алгебре, и она выхватывает его на лету, словно эстафетную палочку. И вот уже Дита отчаянно летит к противоположной от входа стене барака, где — нарочито старательно — метут пол дежурные.

Она успевает одолеть только половину пути, когда замечает, что голоса детей в как бы игровых группах затихают, гаснут, словно пламя свечи от ворвавшегося в распахнутое окно ветра. И ей вовсе не нужно оборачиваться, чтобы понять: дверь барака открылась, входят эсэсовцы. Она резко пригибается, падает и оказывается на полу посреди группы одиннадцатилетних девчонок. Книги Дита засовывает под одежду и обнимает себя руками, удерживая томики на груди, чтобы не выпали. Девочки, оживившись, так и стреляют в нее глазами, а их учительница, не на шутку испугавшись, легким движением подбородка подает им сигнал: пойте, не останавливайтесь! У самого входа эсэсовцы несколько секунд оглядывают пространство барака, а потом выплевывают одно из самых своих любимых словечек:

— *Ахтунг!*

Воцаряется тишина. Смолкают песенки и «вижу, вижу». Все замирает. Но кое-что продолжает звучать: кто-то чисто высвистывает Пятую симфонию Бетховена. Уж на что сержант Пастор умеет наводить жуть, но и

он, похоже, спокоен, потому что на этот раз рядом с ним стоит некто еще более ужасный, чем он сам.

— Да поможет нам Бог, — доносится до Диты шепот учительницы.

До войны мать Диты играла на фортепьяно, поэтому девочка хорошо знает Бетховена. Она думает, что ей уже приходилось слышать подобное весьма специфическое исполнение этого композитора — с точностью меломана свистом исполненную мелодию. И слышала она такое исполнение после трехдневного, без воды и еды, путешествия в наглухо закрытом и битком набитом людьми товарном вагоне, из гетто Терезина, в котором их семья прожила целый год и куда их депортировали, изгнав из Праги. В Аушвиц-Биркенау поезд прибыл ночью. Никогда не забудет она дребезжанье и лязг открывающейся железной двери вагона. Никогда не забудет первый глоток морозного воздуха, смешанного со смрадом горелого мяса. Никогда не забудет сияния света, режущего глаза в ночи: перрон освещался не хуже операционной. И сразу же — приказы, грохочущие по стенам вагонов приклады, выстрелы, звуки свистков, визг. И среди всего этого гомона — безупречно, с абсолютным спокойствием высвистываемая симфония Бетховена, исполняемая неким гауптштурмфюрером, на которого даже эсэсовцы посматривали с явной опаской.

Тогда этот офицер прошел совсем рядом с Дитой, и она заметила и его безукоризненную форму, и

белоснежные перчатки, и орден Железного креста на кителе — награду, которую можно получить только на поле боя. Он остановился перед кучкой женщин с детьми и затянутой в белую перчатку рукой дружески похлопал по плечу одного из малышей. И даже улыбнулся. Жестом указал на двух четырнадцатилетних братьев-близнецов — Зденека и Жирку, — и капрал поспешил вывести обоих из строя. Их мать уцепилась за полу кителя охранника, пала ниц и на коленях принялась умолять, чтобы сыновей не забирали. Офицер вмешался и с полной невозмутимостью заявил:

— Никто не удостоит их бóльшим вниманием, чем дядюшка Йозеф.

В определенном смысле так оно и было. Никто во всем Аушвице и волоска не смел тронуть с головы близнецов, коллекцию которых — как материал для экспериментов — собирал доктор Йозеф Менгеле. Никто, кроме доктора Менгеле, не удостоит их бóльшим вниманием в ходе ужасающих генетических экспериментов, цель которых — найти рецепт обеспечения рождаемости близнецов у немецких женщин и тем самым повышения численности истинных арийцев. Девочка помнит, как удалялся по перрону Менгеле, ведя за руку близнецов и по-прежнему беззаботно насвистывая.

Ту самую симфонию, которая звучит теперь в блоке номер 31.

Менгеле...

Дверь комнатки старшего по блоку с легким скрипом отворяется, и *блокэльтестер* Хирш выходит из крошечной каморки, всем своим видом изображая радушие и удивление по поводу неожиданного визита эсэсовцев. Приветствуя офицера, он звонко щелкает каблуками; это не что иное, как принятый знак уважения к воинскому званию, но в то же время — способ продемонстрировать воинскую доблесть, ничем не подточенную, не сломленную. Менгеле едва достаивает его взглядом — он рассеян и, заложив руки за спину, по-прежнему высвистывает симфонию, словно все происходящее не имеет к нему ни малейшего отношения. Унтер-офицер, известный как Пастор, внимательно обводит барак своими белесыми, практически прозрачными глазами. Его опущенные руки все еще прячутся за обшлагами мундира, но в непосредственной близости от висящей на поясе кобуры с пистолетом.

Якопек не ошибся.

— Инспекция, — негромко произносит обершарфюрер.

Сопровождавшие его эсэсовцы повторяют приказ: он разрастается, усиливается, превратившись в гром, который обрушивается на барабанные перепонки узников. Диту, стоящую в центре девчачьего хоровода, пробирает дрожь. И она еще крепче обнимает себя руками, под которыми похрустывают прижатые к

ребрам книжки. Если при ней найдут книги, это конец, это будет ее смертным приговором.

— Но это несправедливо... — еле слышно шепчут ее губы.

Ей же всего четырнадцать: жизнь только начинается, ей еще столько всего нужно успеть сделать! Она же ничего еще и начать толком не успела. И вспоминает мамины слова, которые та годами без устали повторяет всякий раз, когда девочка жалуется на судьбу: «Это война, Эдита... Это все война...»

Она так юна, что почти не помнит, каким был мир в те времена, когда войны еще не было. И точно так же, как здесь, в лагерном бараке, где у них уже отнято все, Дита под платьем прячет книжки, в памяти ее спрятан альбом с фотографиями — образами прошлого. Она закрывает глаза и пытается вспомнить, какой была жизнь, когда не было страха.

Она видит саму себя, девятилетнюю, застывшую перед курантами на Ратушной площади Праги в начале 1939 года. Скосив взгляд, девочка разглядывает древний образ смерти — скелет: царящего над крышами стража, озирающего с высоты башни весь город своими темными, как черные кулаки, глазницами.

В школе им рассказывали, что огромные куранты — всего лишь безобидный механический шедевр, созданный маэстро Ганушем более пяти веков назад. Но услышанное от бабушки старинное предание навевало грустные мысли: король повелел искусному мастеру

Ганушу создать куранты, наступление каждого часа в которых сопровождалось бы появлением движущихся фигур, а потом приказал своим стражникам ослепить мастера, чтобы тот уже никогда не смог сотворить подобное чудо ни для какого другого монарха.

Движимый жаждой мести, часовых дел мастер засунул свою руку в механизм курантов и остановил его. И когда огромные шестерни зажевали его руку, часовой механизм сломался, и починить его не удавалось в течение многих лет. Иногда по ночам Диту мучают кошмары, в которых оторванная рука маэстро вращается, зажатая зубчатыми шестернями часового механизма, перемещаясь то вверх, то вниз. Скелет звонит в колокольчик, и начинается механическое представление: процессия автоматов, призванных напоминать горожанам, что минуты суетливо подталкивают друг друга, да и часы следуют один за другим, как те гигантские фигуры, что век за веком шествуют в раз и навсегда заведенном порядке, появляясь из невероятных размеров музыкальной шкатулки и исчезая в ней. И только теперь Дита, сердце которой сжалось от ужаса и тоски, догадывается о том, что все это еще за пределами понимания девятилетней девочки, которая думает, что время — это такая плотная очередь, такое неподвижное липкое море, в котором ничто никуда не движется. И поэтому в девятилетнем возрасте часы внушают страх только в

том случае, если рядом с циферблатом изображен скелет.

Вцепившись руками в дряхлые книжки, вполне способные довести ее до газовой камеры, Дита с тоской глядит на ту счастливую девочку, которой была когда-то. Когда они вместе с мамой ходили за покупками в центр города, ей так нравилось останавливаться на Ратушной площади перед курантами, но не для того, чтобы увидеть процессию раскрашенных персонажей, — нужно признать, что скелет пугал ее гораздо больше, чем она сама готова была себе признаться.

Останавливаться перед башенными часами ей нравилось потому, что ее забавляло осторожное — исподтишка — разглядывание прохожих, многие из которых оказались в столице проездом, нравилось наблюдать за выражениями их лиц, за их сосредоточенным ожиданием появления механического дефиле при бое курантов. Девочке едва удавалось сдерживать улыбку при виде изумления на лицах зрителей и их глуповатого хихиканья. Она тут же придумывала им прозвища. С ноткой грусти вспоминает Дита о том, что одним из ее любимых развлечений в те времена было придумывать прозвища всем встречным и поперечным, но в первую очередь — соседям и знакомым родителей. И без того долговязую пани Готтлиб, которая имела обыкновение вытягивать шею, чтобы прибавить себе важности, она назвала «пани Жирафа». А обойщика из расположенной на первом

этаже лавки, тщедушного, с абсолютно лысой головой, она окрестила «пан Шароголовый». Она помнит, как бежала вслед за трамваем, названивавшим в свой колокольчик, когда состав изгибался на повороте, выезжая на Староместскую площадь, а потом терялся из виду, углубляясь в извилистые улочки квартала Йозефов, а Дита со всех ног пускалась бежать к лавке пана Орнеста, где мама покупала материал на зимнюю одежду для дочки — пальто и теплую юбку. Она до сих пор помнит, как нравилась ей эта лавка, входную дверь которой украшала светящаяся вывеска с разноцветными кругляшками: огоньки загорались по очереди — снизу вверх, а потом еще и еще раз, все с начала.

Если бы она не была просто маленькой девочкой, бегавшей по улицам, как в коконе, в счастливом детском неведении, она могла бы, проносясь мимо продавца газет, заметить выстроившуюся перед его прилавком длинную очередь и обратить внимание на набранный огромными буквами заголовок передовицы стопками сложенной газеты «Лидове новины».

Заголовок не оповещал, а просто кричал: «Правительство выступает за ввод германской армии в Прагу».

Дита на секунду приоткрывает глаза и видит эсэсовцев, что-то вынюхивающих в дальнем конце барака. Они даже приподнимают детские рисунки, пришпиленные к стенам самодельными кнопками — шипами колючей проволоки: проверяют, нет ли там

чего-нибудь запрещенного. Никто не произносит ни слова, и шум рыскающих по всем углам охранников явственно слышится в огромном бараке — сыром, насквозь пропахшем плесенью. И страхом. Это и есть запах войны. Из того немногого, что хранит память Диты о детстве, всплывает запах мирного времени: мир для нее пахнет густым куриным супом, который варится на плите весь пятничный вечер. И как же забыть вкус хорошо прожаренного барашка, яичной лапши, грецких орехов... Длинные школьные дни, а вечером — игры в классики или в прятки вместе с Маргит и другими одноклассницами, образы которых уже стерлись в ее памяти... И так было, пока все не пришло в полный упадок.

Перемены были не резкими, постепенными. Хотя, нужно признать, был и конкретный день, когда детство ее вдруг захлопнуло двери, закрылось, словно пещера Али Бабы, и Дита осталась похороненной под толстым слоем песка. Этот день она запомнила очень отчетливо. Даты не знает, но это случилось 15 марта 1939 года. В тот день Прага встретила рассвет с содроганием.

Хрусталики на люстре в гостиной позвякивали, но Дита понимала, что это не из-за землетрясения, ведь никто никуда не бежал и не было никакого переполоха. Ее отец завтракал — пил свой чай и читал газету, стараясь изобразить на лице безразличие, словно ничего особенного не происходило.

Дита вышла из дома и отправилась в школу, куда ее, как всегда, повела мама, и тут город задрожал. Гул слышался, когда они свернули к площади Венсеслао, на подходе к которой земля вибрировала так сильно, что ступням стало щекотно. По мере того как они с мамой подходили ближе, глухой гул становился все громче, и Дита оказалась в высшей степени заинтригована этим странным феноменом. Дойдя до проспекта, они с мамой не смогли пересечь его: тротуары были забиты плотной толпой, и взгляды Диты и ее мамы уперлись в сплошную стену из облаченных в пальто спин, затылков и шляп.

Мама остановилась резко, как вкопанная. Лицо ее вдруг посуровело и сразу состарилось. Она взяла дочку за руку, чтобы пойти назад и попытаться обойти возникшее по пути в школу препятствие, но Дита не смогла сдержать любопытства: непременно нужно было выяснить, в чем тут дело. Одним рывком выдернула она свою руку из маминой. Поскольку девочка была невысокой и худенькой, ей никакого труда не составило прошмыгнуть сквозь толпу, запрудившую тротуар, и пробраться в первый ряд — как раз туда, где полицейские образовали живой кордон, переплетя руки.

Стоял оглушительный шум: один за другим ехали серые мотоциклы с колясками, а на них — солдаты в блестящих кожаных куртках и с мотоциклетными очками, висящими на груди. Солдатские каски сверкали на солнце — новенькие, только что сошедшие с заводских конвейеров центральной Германии: ни

царапины по свежей краске, ни единой вмятины от пули. За мотоциклами двигались боевые машины пехоты с установленными на броне огромными пулеметами, а за ними громыхали танки, продвигавшиеся по проспекту с грозной медлительностью слонов.

Дита вспоминает, что тогда ей показалось, будто участники этого парада — люди-автоматы, подобные фигурам на курантах с Ратушной площади, и что через несколько секунд дверца за ними захлопнется, и все исчезнет. И перестанет содрогаться земля. Однако на этот раз механическая процессия была образована не автоматами, а людьми. В последующие годы она поймет, что разница между теми и другими не всегда заметна.

Ей было тогда всего девять лет, но сердце ее сжалось от страха. Не слышно было ни звуков духового оркестра, ни взрывов хохота, ни обычной болтовни, ни свиста... Это был безмолвный парад. Для чего здесь люди в военной форме? Почему никто не смеется? Внезапно ей пришла в голову мысль: молчаливый парад напоминает похоронный кортеж.

Железная рука матери нашла ее и волоком вытащила из-за спин людей. Они пошли в противоположную сторону, и Прага вновь предстала перед глазами Диты живым городом, каким всегда и была. Как будто девочка очнулась от кошмара и с облегчением увидела, что все по-старому, все вокруг на своем месте.

Но земля под ее ногами продолжала вибрировать. Город содрогался. Мать тоже дрожала. Она тянула

дочку за руку, стремясь побыстрее оставить позади парад и спастись от когтистой лапы войны; она торопилась, постукивая каблучками модных лакированных туфель. Дита вздыхает, все так же крепко прижимая к груди книжки. Она с грустью признает, что именно в тот день, а вовсе не в день первых месячных, рассталась со своим детством, потому что именно в тот день перестала бояться скелетов и стародавних историй о руках-призраках и начала бояться людей.

2

Практически не обращая внимания на узников, эсэсовцы приступили к обыску: их интересовали стены, пол и предметы. Немцы, они ведь такие, методичные: сначала — контейнер, потом — его содержимое. Доктор Менгеле обернулся с вопросом к Фреди Хиршу. Тот по-прежнему стоит навтыжку, не сдвинувшись ни на миллиметр. Спрашивается, о чем они там могут беседовать? О чем таком мог поведать своему собеседнику Хирш, чтобы офицер, которого боятся даже эсэсовцы, застыл возле него — ни жеста, ни реакции, но явная заинтересованность? Евреев, которые могут так уверенно разговаривать с человеком, называемым не иначе как Доктор Смерть, по пальцам перечесть; и уж совсем немного тех, у кого при этом не дрогнет голос, кто не выдаст себя каким-нибудь нервным жестом. Издалека Хирш выглядит вполне естественно — как любой из нас, кому случится остановиться на улице, чтобы поболтать с соседом.

Кое-кто поговаривает, что Хирш — это человек, которому страх неведом. Другие утверждают: все дело в том, что он нравится немцам, ведь Хирш сам немец. Есть и такие, кто намекает на какую-то грязь, скрытую за его безукоризненным обликом.

Пастор — именно он руководит обыском — делает жест, смысл которого Дите непонятен. Если это встать